

Дуплет. Таинства рождений

(Моя «предбиография»)

Гуляли втроем, вечер за вечером. Чаще всего по улице Горького, бывшей Тверской и будущей Тверской, где в витринах промтоварных магазинов замерли в неестественных позах суровые строители коммунизма, где на мостовой в мутных лужах с ошметками перьев и пуха, невзирая на громкий международный титул, бесстыдно купались голуби мира.

Итак, гуляли. Беспечно болтая, ловили оторопелые взгляды москвичей и гостей столицы. Поймав очередной обезумевший взгляд, прыскали со смеху. Даже не прыскали – хохотали. Но чем дольше они смеялись, тем большее недоумение вызывали, причем все трое.

Славик, развеселившись, как-то похлопал по плечу остекленевшего незнакомца в ватном халате – уроженца солнечной Средней Азии: «Закрой рот, товарищ!» Но «товарищ» совету не внял и рот не закрыл. Более того, открыл его еще шире: в родном кишлаке такое не увидишь, а здесь – столица... Что творят! Что творят!

Хотя чего тут смешного или удивительного? Обычный семейный выход: Славка в центре, в белой рубашке с закатанными рукавами, в широченных черных брюках, по бокам сестра и жена, Нинка и... тоже Нинка, обе в легких крепдешиновых платьях.

То воскресное летнее утро начиналось с того, что Славка примерил зимнее пальто.

Женатому сыну Капитолина Иосифовна одежду теперь не покупала, только своему мужу, чтоб попусту не прерывалась его творческая инженерная мысль. Приложит Капитолина Иосифовна к груди приглянувшиеся брюки, посмотрит придирчиво: не велики ли пуговицы на гульфике? Не яркого ли цвета? Достают ли брючины до пола? Не сильно ли волочатся? Пиджак наденет, но не застегивает: тут у нее с Григорием Ивановичем кардинальные разногласия. Если нигде не жмет и ценник не страшный, то покупает.

Иногда, правда, выудит из толпы покупателя поприличнее да посолиднее, да чтоб незаносчивый с виду был, поскромнее, и попросит: «Молодой человек, не могли бы вы примерить эти вот брюки (пиджак, пальто)?» И жертва понуро отправляется в примерочную расшнуровывать ботинки, греметь пряжкой ремня, снимать легкие пару-

синовые брюки и надевать другие – теплые, шерстяные, кусачие...

А вот позавчера у Капитолины Иосифовны сработала застарелая привычка, и она попалась в ГУМе на пальто. Оно показалось ей таким красивым, таким красивым, что даже примерять не стала: раз – и купила мужское зимнее пальто из ворсистого драп-ратина!

«Инженер, а бегаешь зимой в несолидной обдергайке», – успокаивала она себя. Но мысль, что пальто не подойдет или придется не по вкусу сыну или, упаси бог, невестке, упорно просверливала ей мозг от правого виска к левому и обратно. И так – со среды до воскресенья, пока Славка, Славушка, не пришел к родителям воскресным утром и не примерил обнову. Пальто сидело как влитое!

В новом пальто, не чувствуя тридцатиградусной жары, Славка смотрел не в зеркало облезлого ждановского шкафа – в будущее. Оно, это будущее, виделось не просто безоблачным – оно было прекрасным!

В то же зеркало, переполненные радостью за Славку, смотрели и его родители, Капитолина Иосифовна с Григорием Ивановичем, и обе Нины. Нет, они не замечали отражающуюся в нем крохотную комнатку, где за единственным столом из года в год обедали, разливая половником дымящиеся щи по тарелкам, чертили, считали, двигая стеклышко логарифмической линейки, листали технические справочники, краткие и не очень, ну, то есть просто совсем-совсем не очень.

Всем пятерым грезилась заснеженные переплетенья замороженных рельсов станции Москва-3, и даже пурга, и сам Славик, идущий в депо четкой, уверенной поступью грамотного молодого специалиста.

После примерки пальто втроем решили поехать в ЦПКИО и там у культурно отдыхающих вызывать привычную оторопь.

Нагулявшись, они уселись на скамейку под громкоговоритель, как под солнце, изливающее бодро-оптимистические голоса Нечаева и Бунчикова, сливающиеся в единый хор с другими такими же Нечаевыми и Бунчиковыми с соседних столбов.

Славик побежал дамам за мороженым, за эскимо, но когда они зашелестели сверкающими серебряными обертками, обеим сладкие молочно-шоколадные капли размякшего мороженого упали на животы: Нинки были на сносях...

Обе – одинакового маленького роста и кудрявые, обе – почти брюнетки, обе – симпатичные и при этом на одинаковых, на глаз, сроках беременности. Положение Славика, высокого ослепительного блондина, между двумя Нинками выглядело не только двусмысленным, но и почти вызывающим.

– Может, в кривые зеркала пойдём? – предложил Славик, но неуверенно как-то предложил, вяло.

– Слав, ну ты как скажешь! – возмутилась Нинка, которая жена.

– А куда?

Все с завистью посмотрели на колесо обозрения: там на самом верху видна вся Москва, Кремль, Университет... Но очередь, чтоб ей неладно было!

Из всего разнообразия, что предлагал парк ЦПКиО, оставались детские лошадки с оленями, велосипеды, тир и самолеты.

Что сподвигло беременных «девушек» на полет? Может, «Марш авиаторов», накрывший из громкоговорителей всю поверхность парка? Может, Славкино пальто или долгожданные корочки дипломов? Или солнечный день и катание «впятером» на лодках? А может, новые станции метро, кольцом обнявшие высотки, устремленные в небо Москвы, теперь уже точно навсегда мирное,

или мозаичные панно с самолетами в том же метро? Или скульптуры, рельефы, барельефы и даже горельефы, но неизменно прославляющие растениеводство с животноводством и виноградарством? А если все вместе: солнце, лето, молодость и, главное, безмерное чувство свободы и полета?

Но вот Славик опять побежал, теперь уже за билетами, а Нинка с Нинкой поднимались по деревянным ступенькам аттракциона: каждая к своему самолету.

Взревели моторы, и закрутились пропеллеры. Крылатые машины неохотно набирали скорость, словно противились такому безобразию, но нет, они просто пытались поднять в воздух четверых. С земли Славка глазел, как одна Нинка проносится за другой, бледнея и одновременно зеленея с каждым поворотом. Что-то было не так...

– Нажми стоп-кран! – бросился железнодорожник Славка к карусельщику. – Останови самолеты!

– Не положено! – грозно ответил карусельщик. – Положено три минуты.

Славка послушно отошел в сторону, тарабаня ногой от нетерпения: сестра с женой крутились, получая удовольствие согласно таксе. Славка глянул на часы: нет, три минуты ему не показались вечностью – они растянулись до пятнадцати! Карусельщик с округлившимися глазами сохранял жалкое спокойствие.

– Катись отсюда, специалист хренов! Я – механик, я – инженер! – Славка оттолкнул карусельщика от примитивного пульта. Эх, разве с такой техникой новую жизнь построишь?

Посадить оба самолета путейцу Славику удалось еще минут через десять.

Ночью в комнате Нинкиных родителей, безуспешно пытающихся уснуть и оттого ворочающихся на стонущей

панцирной кровати разнонаправленно и одновременно, раздался стук в дверь.

Нет, теперь от ночных стуков в дверь ни у кого сердце не замирало, не устремлялось в пятки, увлекая за собой желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу и далее весь пищеварительный тракт. В будни не стучали.

Стучали исключительно в ночь с субботы на воскресенье, после короткого рабочего дня и после бани. И означало это одно: козел, в смысле, домино. Посреди коридора вороньей слободки, где жила Нинка с родителями, расставлялся стол, и стучали до утра. Если было тихо, значит, резались в преферанс...

– Есифовна... – в комнату просунула голову ничья бабушка. – К телефону!

Капитолина Иосифовна прыгнула на пол, пробежала половину коридора вороньей слободки, потеряла тапок у комнаты бывшего горского князя, а взяв трубку и выслушав незнакомый женский голос, с облегчением вздохнула.

Утром Григорий Иванович пришел к начальнику отдела, причем хотя и изрядно помятый, но в самом веселом расположении духа.

– Пётр Петрович, отпусти ты меня домой: сегодня ночью внучка родилась!

Он с Капитолиной Иосифовной закрутился, бегая то в роддом с передачей, то на почту с телеграммой зятю на Камчатку, то в магазины: за пленками, ванночкой, коляской...

Поздно ночью, лишь только они достали из новенького холодильника «Саратов-2» запотелый графинчик, только хотели разлить по граненым рюмочкам холодненькую и выпить за здоровье внучки, дочери и зятя, как вновь раздался стук в дверь.

– Есифовна... – в дверь заглянула тетя Паша. – К телефону!

Тапок во время второго марш-броска был потерян у комнаты бесследно исчезнувшей в тридцать восьмом году Люции Францевны.

Наутро Григорий Иванович пришел к начальнику отдела еще более веселый и более помятый.

– Как внучка? – спросил начальник и, лукаво посмотрев на Григория Ивановича, сам же себе ответил: – Вижу, что хорошо.

– Пётр Петрович, отпусти ты меня домой: у меня сегодня ночью внук родился!

Некоторое время оба смотрели друг на друга с явным недоумением, наконец тот, которого звали Петром Петровичем, от негодования вскочил со своего начальника места:

– Имей совесть! Надо опохмелиться, так прямо и говори!

Заступница

Много лет назад мои друзья путешествовали по Зонежью. На ночь их приютила старая женщина. Из всех жителей деревни она осталась одна со своим взрослым сыном-инвалидом. Моим друзьям, совершенно незнакомым ей людям, старуха пожаловалась, что некому ей будет перед смертью передать ключ от деревянной часовни.

Вот и все, что я знаю об этой женщине, остальное надумано, а мои друзья так и не смогли вспомнить название той деревни.

– Да ты не эту давай, а другую, короткую. – Старуха обращалась к дыре, к лазу на потолке в сенях, куда канул ее сын.

Запрокинув голову и от напряженного сосредоточения раскрыв рот с редкими кривыми зубами, она на слух, по скрипу досок под осторожными шагами, определяла, в каком месте чердака находится сын. Шаги потоптались на месте, затем удалились, вернулись и вдруг затихли.

«Как он там?» – она сглотнула слюну и чуть склонила голову в раздумье. В ответ что-то грохнуло.

«Это не доски, – рассуждала старуха. – Коромысла! Они самые! На кой сын коромысла вытащил, сам с родника возит воду на тачке, в алюминиевом бидоне, может, в печке решил спалить?»

Тяжелые, с заусенцами, они грубо вырублены равнодушной мужской рукой, да так, что никакие подоткнутые тряпки, ни даже рукава истлевшего ватника не могли защитить некогда квадратные, а ныне поникшие плечи старухи.

Она закрыла рот: сухо в нем стало, совсем сухо, да и шея затекла.

– Что ты там шарить, дурачок? А?.. Там корчага стоит, совсем чуть-чуть треснутая, смотри не разбей!

Но «там» не шарили, коромысла едва слышно уложены были обратно, и скрип досок теперь приближался к трубе. Стоя внизу, в сенях, старуха почти видела ее, пронзающую скат крыши, ощущала неразгибающимися сухими пальцами ее шероховатые самодельные кирпичи, скрепленные растрескавшейся глиной.

Рядом с драгоценной корчагой должны валяться старые ведра, какие без днища, а какие с днищами – и даже не дырявыми, – хотя и без ручек. На чердаке хранились еще мешок с тряпьем, прялки с колесами и без них, керо-

синка, двуручные ржавые пилы всех мастей, два чугунных утюга и раскрытый старинный сундук, где в изгрызенных, истерзанных крысами клочьях бумаги и полиэтилена лежало три сокровища, три сапога: яловый, хромовый, оба левых, и один правый, но женский и резиновый. Налево от сундука – коробки со стеклянными банками, прохуdivшийся самовар, две трубы от него – одна прямая, другая коленом – и еще много-премного всяческого добра, нажитого за трудовую жизнь не одним поколением.

Нужная доска могла лежать рядом со спутавшимися рыболовными сетями.

– Ты не провалился в избу-то, как в прошлый раз!

Прошлый раз случился лет пять назад, тогда, проломив потолок, сын рухнул на кухню, увлекая за собой прогнившие деревяшки с близлежащим хламом, и, выждав паузу, получил заключительным аккордом аутентичной ребристой скалкой по голове. И прежде чем застонать и заохать, он еще с полчаса недвижно лежал на полу, посыпаемый трухой, пылью и песком, коим, наряду с тряпками-затычками, традиционно утеплялся потолок.

Старуха вновь запрокинула голову: крутая лестница на чердак обрывалась через семнадцать ступенек, луч солнца, пробив дыру в крыше, упал и замер у галош, надетых по случаю хорошей погоды, весны.

В зависимости от времени года галоши сменяли прорыжевшие растоптанные валенки, но неизменными всегда оставались рейтузы с вытянутыми коленками, шерстяные носки, ситцевый или фланелевый халат с редкими разнокалиберными пуговицами, сверху куртка или пальто. Маленькую головку, въехавшую в плечи, укутывал платок, теплый или не очень. Все вместе это являлось трансформацией народного костюма.

Старуха переминалась с ноги на ногу, солнечный луч, дрожа, прыгал от галош к подолу и обратно и, сосколь-

знув, бесшумно замирал на некрашеном полу, с тем чтобы пригреться, перебравшись на спущенные гармошкой рейтузы.

Год от года луч рос пропорционально дыре в крыше, а это означало, что в непогоду шайка на чердаке заполнялась быстрее. Тогда сын карабкался по лестнице с ведром и, держа за ручки гремучую оцинкованную шайку, осторожно переливал из нее воду. Но посылать сына латать дыру на крыше старуха боялась: навернется еще, как ей одной жить-то?

С чердака свесилась голова сына – его огромные очки в толстой пластмассовой оправе не могли скрыть, что он идиот, полный, от рождения, произошедшего лет пятьдесят назад.

– Во-о-о-о. – Полудурок, шлепая мокрыми пухлыми губами, промычал еще несколько раз, но старуха его поняла.

– Так давай ее.

Осторожно, чтобы не задеть мать, сын спустил с чердака доску, тяжелую, самопиленную, в крупных продольных бороздках. Кряхтя, старуха приняла ее и медленно опустила, поставив рядом с собой. Доска оказалась чуть выше нее.

– О, такая годится, а то что длинные-то зазря брать?

Сын мастерил матери гроб из досок, напиленных при жизни еще ее отцом. Обливаясь потом, отец толкал снизу вверх двуручную пилу, а стоящий над ним на козлах его старший сын-пацаненок изо всех сил тащил пилу на себя. Бревна пилили вдоль, распускали. Была, видно, какая-то надобность, строить что-то хотели.

Старуха облегченно вздохнула: теперь у нее есть все, и гроб получится на славу, крепкий, добротный! А железный крест она нашла еще той весной у повалившейся кладбищенской изгороди. Долго она над ним пыхтела,

опутанным сухой прошлогодней травой, – не хотела земля его отпускать. Дурак этот крест от ржавчины отчистил, новой краской серебряной покрыл, два раза покрыл – как новый!

Крест хранили на чердаке, прислонив к никелированной кровати, на которой Дурак любил спать в теплое летнее время.

Оставив сына стучать молотком на дворе, она побрела в дом. Чай пить ушла, горячий, двадцать раз слитый, но не бесцветный благодаря немытой щербатой поверхности кружки далекого города Чунцина: старуха видела совсем плохо, а Дурак тем более.

И пока старуха в хлопотах топала от двери к окну, от окна к столу, из комнаты, с фотографии на стене, сквозь мутное стекло за ней безмолвно наблюдала она сама, но другая, бойкая, в узкой юбке по колено, в обтягивающем свитере, модница, выскочившая из унылого ряда победительниц соцсоревнования в черных ватниках и белых платках.

«Ну, прям городская», – называли ее в их деревне.

«Деревенская», – выносили вердикт в городе.

Плясать любила, ох как любила! Как ногой топнет, да другой притопнет, а стопку граненую как хлопнет, не закусывая, да руки раскинет, да подмигнет мужичонке, и не одному, и павой поплывет! А уж частушек знала, не перечеть, особо ядреных и озорных!

*Ох, дед, ты мой дед,
Посади морковку,
Скоро в космос полетим,
Сделаем стыковку!*

С годами частушки стерлись, забылись, что ли, и губы зашелестели молитвы давно истлевшей бабушки Груши,

да только не все так, как старая беззубая шептала, отвернувшись в угол к образам, спиной отгородившись от мира.

Старуха шептала, как язык поведет и как на душе было: просила сил дать и еще смерти зараз с сыном.

Много она думала, как лучше умереть: если она первая умрет, Дурак в «натырнате» сгниет, а ему первому умирать никак нельзя, пропадет она без него, совсем пропадет.

Уж как она его не хотела: и в бане до темных кругов перед глазами парилась, и с крыши сарая прыгала. Крепко он в ней засел, и, видно, не зря, раз ее опора единственная. Младший он у нее, старшие-то сгнули: один спяну повесился, другой после тюрьмы пропал в городе, и милиция его не нашла, а этот вот остался. И все они – сгнувшие сыновья, и муж покойный, и родители оба, и крестная с крестным, и дядька Пантелеймон, и тетка Федосья, и доярки-передовицы, – все глядят на нее с фотокарточек на стене. Дурака там только нет. Дурак, он и есть дурак, что на него карточки тратить. Может, оттого он один живой, что не фотографировали?

Зато у Дурака были руки хорошие, у матери еще какая-то голова, на двоих им хватало. А потому делал Дурак, что указывала мать, без промедления и уж, конечно же, без рассуждения: ловил рыбу, сажал картошку, колот дрова, откапывал нижние венцы и часовни, и дома, и двора, ходил в магазин за две реки. Нередко, уйдя за крупой, хлебом и пенсиями, Дурак пропадал по несколько дней, но старуха не волновалась: пускай выбесится, главное, чтоб не побили.

Старуха его из окошка выглядывала. Когда трава невысокая, далеко видно: и поле, где шагает Дурак с мешком продуктов, и реку, смиренно текущую в плоских берегах, и на холме часовенку деревянную со звонницей под шатром и с маковкой – слезкой, упавшей с неба.

Покойница бабка Анна, когда занемогла, ключи старухе отдала от «часовены».

«Ты, – говорит, – за ней должна ходить. Ни Маше, ни даже Вере я ключи не дам, ты самая справная».

А теперь нет ни бабки Анны, ни Маши, ни Веры, после них на кладбище давно уже не хоронят: некого, вся деревня туда перебралась, кто в город не уехал. Одна она с Дураком осталась на всем белом свете.

Егда сходил снег, старуха снимала с гвоздя у окошка ключ от часовенки, брала в руки свою палку – высокий отполированный кол с острым концом, – спускалась с крыльца, открывала калитку и шла по тропинке: справа река, слева дома, деревня, безмолвно провожающая ее пустыми окошками, разбитыми и со стеклами, с вывороченными рамами и даже с крепко забитыми ставнями. Не загорится ни в одном доме свет, не скрипнет половица, не упадет ни сковородка, ни кастрюлька невзначай, и не выскочит в знойный день босоногая конопатая девчонка на крыльцо. Все пусто. За распахнутыми дверями магазина в ящиках пылятся удачно сданные мужиками бутылки из-под водки да из-под пива, но так и не отправленные, в домах, тех, что покрепче, на столах еще стоят чашки с блюдцами, стаканы, на гвозде у рукомошника повисло полотенце, на печке скомкано одеяло, тяжелое, ватное, шкаф с бельем не закрыт, постель не заправлена. Людей нет и не будет уже никогда, они ушли, чтобы не возвращаться, а потому дорожки к домам и огородам зарастают не травой – кустами да деревьями.

Старуха отпирала после зимы часовню, а Дурак, взобравшись на звонницу, смеясь, раскачивал за веревку язык колокола, оглашая радостным гудящим звуком погост, деревню, пустынные поля и леса, простирившиеся внизу далеко-далеко, до самой кромки неба. Весна! Старуха мыла и прибирала божницу, выметала черный кры-

синий помет, устилающий пол. Ее нехитрый, смиренный труд благословляли святые угодники с крохотного иконостаса да с икон, принесенных из пустых домов, и сияли над старухой звезды на деревянных небесах, поблекших от времени и революционной мысли, когда в часовне хранили горох и ячмень.

Солнце пригревало, трава подрастала, и от калитки до леса зацветали медовой пеной сныть и желто-лимонная сурепка. Ветер рябил реку, гонял по небу облака, а по полям благоуханные цветочные волны; Дурак выкашивал тропинку от дома до кладбища, как бритвой, ровно, под самую землю. Он и часовню окашивал по три-четыре раза за сезон.

К осени трава сникала, опадала, обнажая остовы репья, посеревшую речку и покосившиеся дома с облезлыми расписными ставенками и «полотенцами». Тогда старуха убирала на зиму часовню, с тем чтобы весной к ней вернуться, а Дурак еще не один раз с тачкой ходил в магазин за мукой и крупой впрок на долгие месяцы, прежде чем вытащить лодку повыше на берег и, перевернув, оставить до весны.

Зимой в их краях хоть и боязно не дотянуть до тепла, но спокойно! Чужой в гости не навяжется, не дойдет. Снегом заметет дом по самые окошки, завалит лес, реку, лодку. Волк может ночью завывать рядышком, может и у крыльца пробежать, метку желтую оставить, заяц с испугу заскочит, сорока затрещит, а так, чтобы человек, – нет. И живут старуха с сыном неторопливо: печку топят, хлеб пекут, чай пьют, блины едят, кошек мурлыкающих гладят, но в бане не моются, потому что холодно, а от грязи еще никто не помер, и на двор в темноте не выходят: не дай бог, увидят рядышком два горящих зеленых глаза.

Старуха и попила чаю, и суп сготовила, они с Дураком поели, и уже козу она загнала и подоила, и Дурак гроб доделал, и незаметно за простыми хлопотами наступили сумерки. Зевая, старуха собралась спать ложиться, как почудился ей лай собак, ее собак, Дружка и Тузика.

Лаяли за деревней, у кладбища. Куда их занесло! Старуха глянула в окошко: бледный весенний вечер не мог скрыть фигуры чужаков у часовни.

– А-а-а-ай. – И как была в избе, с кусочком сахара в руке, забыв палку, она выбежала из дома.

А за нею Дурак грохотал по ступеням крыльца:

– О-о-о!

С весны и по самую осень к ним нет-нет кто-нибудь да и забредет. Те, что понастырнее, часовню просят открыть, иногда ей за то конфет насыпят к чаю или денег дадут. Она всегда брала, людей не обижала. Были бы озорниками, днем замок сорвали, но эти пришли, когда стало темнеть.

– У-у-у-у! – Дурак устрашающе загудел, потрясая топором, бросаясь туда, откуда доносился лай, визгливый, хриплый, отчаянный.

– Ох, убьют тебя, убьют, окаянные! Ах, ах ты господи, ах... – Она поспешала за сыном изо всех своих тающих сил.

Их было двое, двое здоровенных мужиков, и что старуха с сыном могли с ними сделать?

Она бежала, как ей казалось, быстро-быстро, но от ветра слезы застилали глаза. Что там творится, жив ли Дурачок-то?

Дурак был целехонек: они отбросили его в сторону, как пушинку, вместе с его топором. Подбежав поближе, старуха смогла различить пытающегося подняться Дурака и собак, вцепившихся в мужиков.

– Ох, собак убьют!

Но несмотря на иступленную преданность старухиных собак, они, казалось, не слишком мешали ворам. Некрупные беспородные шавки были для них досадным недоразумением, и, если бы не громоздкие пластиковые сумки со сваленными иконами, удар крепкого ботинка легко мог переломить хребтину любой из старухиных защитниц.

Однако неожиданно один из мужиков взвыл:

– Падла! Прокусила! Жилу прокусила, кровь как из крана!

Зажимая ляжку двумя руками, он запрыгал к лодке. Второй, схватив сумки, побежал за ним, дернулся обратно, но, передумав, впрыгнул в лодку и запустил мотор. Они уехали в ту сторону, где за другой рекой была дорога.

Старуха в оцепенении слушала звук затихающего мотора, Дружок весело подбежал и лизнул руку, сжимающую кусок сахара. Языком он пытался дотянуться до заслуженной сладости, рядом вертелся и Тузик, и ему хотелось сахару, но рука не слушалась старухи.

Старуха шмыгнула носом, поплелась в часовню – темно и пусто, все вывернуто, вынесено, исковеркано. Все, что по копейке три сотни лет назад собирали деревенские мужики – бедные и побогаче, бобыли, семейные, пьяницы и лентяи, бессребреники и прижимистые, – и что они строили, нанимая богомаза и резчика поискусней и подешевле, и что богомаз, в соответствии с канонами, собственным даром, представлением о прекрасном и местным укладом жизни, писал, вспоминая свои прежние иконы и другие, когда-то вызвавшие у него душевный трепет, и золотил синие небеса звездами, а резчик обвинял колонки иконостаса никогда не виданной им виноградной лозой. И застывшие великомученики взирали с деревянных досок не на одно поколение деревенских,

и живых и покойников, но не спасла праведников Матушка-Заступница, саму унесли.

Старуха подумала, что надо бы завтра все убрать при свете, а как выходить стала из часовни, столкнулась с Дураком. – О-о-о-о! – Сын протянул ей икону «Страшный суд».

Они обронули, ей оставили. Значит, это он и есть сегодня, ее судный день.

Полупрозрачный месяц, раздвоившись, застыл и в речке, и высоко в небе, отбрасывая бледные тени, тонувшие в поднимающемся тумане. Мать и сын глядели друг на друга, оба плакали. Их дыхания, обратившись в пар, сливались и растворялись в вечернем тумане.

За толстенными стеклами уродливых очков глаза Дурака казались той же величины, что и текущие по щекам редкие слезы.

Старухины слезы катились уже не от ветра. Плакала она и причитала тонюсеньким голосочком – не над часовней, над собой. Она плакала оттого, что тетка Наталья пожалела ей квашеной капусты, когда она в положении была, вспомнила и папку, погибшего на фронте, не дошедшего ни до какого Берлина, а сгинувшего, как и другие мужики из их деревни, на болоте за двести верст отсюда. Перед уходом он смастерил машину, чтоб картошку чистили, как в городе. Он взял лист железа, свернул его в барабан, продырявил гвоздями, ручку приделал, чтоб барабан крутить и чтоб картошка шкрябалась и сама чистилась. Но картошку они всей оравой не чистили, так ели, с кожурой и землей.

Слезы лились и оттого, что жизнь в их местах – сущее наказание, а вроде и немцев не было. И мамку старухе стало жалко, и сыновей, и себя, так жалко себя, что не плакать она никак не могла, да и не хотела.

Старуха плелась к дому, прижимая к груди уцелевшую икону, в холодном влажном воздухе, не встречая пре-

град и отклика, далеко разносился ее дрожащий, прерывистый голос.

Тяжело ступая, она вошла в дом, но и он не был ее убежищем, и в нем ее ждало все то же горе. Бездумно оставив на столе икону, она плюхнулась на стул рядом. У ног ее вились собаки, терлись, облизывали, ласкались, заглядывали в глаза, нет, они не ждали сахара, тот кусочек сам выпал нечаянно еще по дороге, и Тузик сгрыз его, вылизав траву и землю вокруг, поспешил за хозяйкой. Собаки утешали старуху, пытаясь любовью и преданностью заглушить ее горе, но она не замечала их, совсем не замечала.

Она проплакала до утра, а когда оторвала от подушки распаренное, одутловатое лицо, поняла: еще придут, в доме искать будут, Дурака прибьют.

Часовню она потом старательно прибрала, Дурак дверь подправил, замок повесил – пустоту запер. За часовню старухе более беспокоиться нечего, но куда спрятать икону?

Дурак о схороне никак не должен знать: они придут, дадут ему конфет или водки – все им покажет без утайки. Он же добрый, Дурачок-то, да и глупый...

Долго она ломала голову, наконец выдала:

– Леща хочу, ой как хочу. Поймай леща, я пожарю.

И Дурак, получив задание, возился со снастями, шел на реку, спускал лодку, ставил мережки.

Оставшись одна, кряхтя, в несколько приемов старуха отодвинула от стены железную панцирную кровать. До того не единожды она шарила и взглядом, и руками по кривым стенам избы, ощупывала, простукивала, ища место, где обои больше всего отстают от бревен, образуя достаточного размера пустоту. И как малое дите, старуха посчитала, что самое надежное место для иконы под кроватью, за обоями.

Понаклеено в их избе на стенах бумаги было не меньше дюжины слоев: газета с письмом пионеров в редакцию с просьбой дать им почтовых голубей погребалась под слоем розовых в цветочек обоев, а те, в свою очередь, закрывались «Нашим Первомаем» или строгим вопросом: «А вы готовы к противозвоздушной и химической обороне?» Но и Первомай, и химическую оборону ждала судьба почтовых голубей: далее шли наслоения сиреневых и зеленых обоев, что выбрасывались в селпо и красовались у половины в округе.

Портреты товарищей Молотова и Маленкова из «Крестьянской правды» или «Северного колхозника» и за тридцать шестой год, и за пятьдесят девятый не щадили разводы крысиных испражнений, итоги социалистического строительства в СССР, сессия Генеральной ассамблеи ООН и приветствия мастерам высокого урожая желтели, покрывались бурыми разводами.

Один за другим слой обоев и газет, на радость грызунам, клеился на муку, образуя при этом подобие прочной конструкции, самостоятельного сооружения, за которым вольготно и в полной безопасности десятилетиями гнездились и шныряли десятки крыс и мышей всех мастей.

Где предыдущий слой отходил от бревенчатой стены, в ход шли одиночные гвозди или прибывалась узкая полоска фанеры, а там, где сильно дуло, затыкали щель тряпкой. Так и жили все вместе с хвостатыми в полном согласии, но зато в тепле.

Старуха пропилила в толще обоев ножом подобие квадрата, толстого, неровного, выгребла оттуда труху и грязь. Тяжело дыша, выбралась из щели между кроватью и стеной, нашла в шкафу платок, любимый, штапельный, и завернула в него икону. Кряхтя, ползая на карачках за кроватью, она упрятала икону в пропиленную дыру, как в карман.

Далее старуха притащила рулон обоев, оставшихся от последнего ремонта, то есть пролежавших лет пятнадцать, оторвала от него куски и заложила их поверх платка, прежде чем заклеить вырезанное место традиционной мукой.

Когда вернулся продрогший на реке Дурак с единственной рыбкой, старуха успела кое-как навести порядок.

Спустя некоторое время она поведала ему, что приходили те самые мужики и отобрали икону. Дурак поверил, засопев, забившись в угол, до темноты молча чинил свои снасти.

Но те самые мужики не приходили, и каждодневные тревожные ожидания постепенно притупились, нужда отпирать часовню отпала. А когда наступило лето, старуха сходила только посмотреть, как обкошены Дураком венцы. Далеко это, тяжело ей. Из окошка не раз она за день на нее крестилась: так поставлена была часовня, что видна была из каждого дома деревни.

Нередко засмотрится старуха в окошко, задумается, и мутные глаза ее различают заросшие травой и пучками цветов холмики могил, покосившиеся кресты, колонки со звездочками. Здесь Пётр Тимофеич в кепке, в пиджаке, там брат его, тут товарка ее, Клавка, рядом племянница, кого тут только нет! Все серьезные, строгие...

– Покров сегодня, потому и пришла. – Сидя на скамеечке у часовни, старуха палкой ковыряла дырку в траве, еще зеленой.

Она оторвала от дырки взгляд, равнодушный, прищуренный от низкого осеннего солнца.

– Я уж и забыла, какие вы при жизни были, все в тумане, коли вспомню что, то вы как на карточках с кладбища... Молчите все. А мне с кем еще разговаривать? Ну, вместе помолчим.

На небе скрипели и гоготали гуси. Они пролетали над старухиной деревней не первый день, иногда садились под вечер за рекой, с тем чтобы поутру захлопать крыльями, зашуметь и всей стаей взмыть в небо – синее с плывущими облаками или затянутое пеленой, – и, поднявшись высоко над землей, превратиться в тонкий, едва различимый крикливый клин.

– Давеча один гусь отстал. Ой как он кричал! Пустое небо, один летел. Где теперь? Боюсь, не долетит, ох, сгинет.

В траве сделалось уже несколько дырок, прежде чем она услышала:

– Ну здравствуй, Евдокия Николаевна!

Старуха подняла голову: мужик незнакомый, а с ним еще один и девка здоровенная, толстая.

– А ты кто такой?

– Ну, начальство деревенское не узнаешь?

– А как мне его узнать, к вам в деревню только Дурак ходит.

Начальствующий мужик слегка поперхнулся, но вспомнив, кто такой Дурак, продолжал:

– А Сашку Семёнова признаешь?

Старуха пригляделась ко второму мужику:

– Может, и признаю. А это жена его. – Старуха кивнула в сторону толстой девицы.

– Тут такая штука. – Начальник присел на корточки перед старухой. – Из музея это работник. Специально сюда приехала, нас всех к тебе вытащила. Часовню посмотреть ей надо.

Старуха зыркнула в сторону девицы: ни она, ни «Сашка Семёнов», ни тот, что на корточках, не походили на грабителей. Может, знакомцы их?

– Ограбили часовенку.

– Как! – ахнула девушка.

– Весной ограбили.

– Кто?

– А я, поди, знаю кто? Два мужика. Темно было.

– Заявить надо было, может, нашли грабителей-то.

Старуха молчала.

– Вы-то, это самое, Сергей Саныч, того, – возразил «Сашка Семёнов». – Они-то как могут заявить?

Но Сергей Саныч не унимался:

– Так уж все и унесли?

Старухе хотелось спросить его: «А ты почему знаешь, что не все?» – но ей хорошо было ведомо, что начальство – воры, что летом – комары, осенью – холодный дождь, в старость – болезни, и принималось это без злобы, как данное свыше и навсегда.

– Все, все унесли, ничего не оставили. Можете сами посмотреть.

– Я нашла в архиве упоминание о «Страшном суде»...

Но старуха поспешно перебила девушку:

– Все, все унесли.

Девушка зашла в часовню и сразу вернулась, «Сашка Семёнов» дольше с замком возился. Девушка плакала: под бледными деревянными небесами часовни притулились две маленькие дешевые современные иконки.

Девушка собиралась сюда приехать еще в апреле. Директор музея отговаривала ее: «Все давно выгребли, подчистую. После атеистической чистки иконы и утварь в моду вошли, тон задали еще в 60–70-х годах столичные творческие интеллигенты, за ними подтянулись партработники, а потом и бандиты в трениках, погонах и в штатском... Нет, вот когда они, эта культурная прослойка, икону покупали, они думали, откуда она?.. Замуж тебе надо выходить, а не по лесам шастать...»

Старуха гордо восседала на скамейке, незваные гости, попрощавшись, гуськом потянулись к оставленной ими надувной лодке; ласковое предвечернее солнце задержалось в мягкой золотой хвое лиственницы...

Как-то поутру кусты и деревья ошетинились инеем, и к вечеру его иголки с тихим шорохом осыпались на пожелтевшую траву и засохшие листья. Затем был дождь, а потом снег, и опять дождь. И не раз еще хлопья снега уносили мутные воды реки, прежде чем земля, а вслед за ней и река совсем не остыли и не успокоились. Деревню укрыло снегом, время замерло.

Зима тянулась бесконечно. Очень уж старуха боялась не дожидаться ее конца, не дожить, но когда снег отяжелел и пропитался водой настолько, что ночью тихо сложился в бесформенную кучу дров дом покойной Тимофеевны, старуха поняла: наступает весна.